
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕЗЫ ИСТОРИИ

О. Е. РАФАЛЮК

ОБРАЗ СМЕРТИ В СОЗНАНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ

В статье сравниваются идейная атмосфера и психологический климат двух первых десятилетий XX века (Belle Epoque, или Серебряный век в России), анализируются установки сознания русской культурной элиты в отношении Смерти и Жизни, динамика их изменений в историческом и социокультурном контекстах эпохи.

Ключевые слова: общественное сознание, Belle Epoque, культурная элита, мировосприятие, смерть, жизнь, Апокалипсис, хаос, Первая мировая война, обновление, очищение, духовный подъем.

... Весь наш род,
Как на арене гладиатор,
Пред новым веком смерти ждет.
Мы гибнем жертвой искупленья,
Придут иные поколенья.
Но в оный день, пред их судом,
Да не падут на нас проклятья:
Вы только вспомните о том,
Как много мы страдали, братья!
Грядущей веры новый свет –
Тебе от гибнущих привет...

Д. Мережковский

Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!

Н. Глазков

Историческую эпоху рубежа XIX–XX веков современники сравнивали с «первыми столетиями нашей эры» (Блок 1955: 342).

Масштабность и интенсивность событий последних и первых десятилетий меняющихся веков были столь велики, что это отбрасывало все другие исторические параллели и вызывало ощущение «значительности промежутка времени в несколько столетий» (Блок 1955: 341). На ментальном уровне подобное переживание действительности выразилось, с одной стороны, в коллективном чувстве тревоги, страхе конца света, пессимизме, с другой – в подсознательном стремлении к обновлению, «очищению» для новой жизни и вере в его возможность. С философской точки зрения суть выделенных тенденций сводится к противоборству Смерти и Жизни, происходившему в сознании российской интеллигенции в начале XX века. Изучение установок в отношении к данным важнейшим константам человеческого бытия позволит глубже понять мировидение и систему ценностей, а также психологию общества *Belle Époque* (Серебряного века в России).

Отношение к Жизни и отношение к Смерти являются важнейшими компонентами картины мира как отдельного человека, так и общества в целом. Однако применительно к рубежу XIX–XX веков в контексте трагических событий (политический терроризм, революции, войны) категория Смерти становится *ключевой* характеристикой сознания интеллигенции. «Образованная Россия переосмысливала свое отношение к жизни через смерть» (Могильнер 1994: 57). Творческие личности переживали эту «коллизацию» наиболее остро. Писатели, обладая в силу психических, эмоциональных, социально-профессиональных особенностей особой «духовной чувствительностью», «абсолютным слухом», раньше и острее других социальных групп улавливали настроения времени. Оставленное ими литературное и эпистолярное наследие изобилует эсхатологической тематикой и дискурсами о болезнях, безумии, усталости, смерти. Однако будет ошибкой счесть, что установки в отношении смерти были идентичными и однотипными. Они исторически изменялись и потому требуют рассмотрения «во всех диалектически сложных связях с экономическими, социальными, демографическими, духовными, идеологическими аспектами жизни» (Гуревич 1989: 124) конкретной эпохи.

Как отмечает А. Я. Гуревич, «проблема смерти не нова для этнолога: погребальные обряды и связанные с ними символика, фольклор и мифология представляют собой важное средство для понимания народных обычаев и традиций. Не нова эта проблема и для археолога, который на основе материальных остатков далеких

эпох пытается реконструировать характер погребений и представления древних людей о смерти и загробном мире. Многократно встречались с темой смерти историки литературы. Реальна эта проблема и для философов. Однако собственно историки всерьез занялись проблемой смерти не так давно» (Гуревич 1989: 114). Между тем, по мнению таких ученых, как Ф. Ариес (1992) и М. Вовель (Vovelle 1983), отношение к смерти служит эталоном, индикатором характера цивилизации, выявляет тайны человеческой личности и, следовательно, расширяет круг знаний о человеке в истории, глубже выражает специфику исторической реальности.

В настоящем исследовании психосемантический анализ (Петренко, Митина 1997: 92) категориальной структуры восприятия и осознания смерти русской культурной элитой начала XX века (1895–1915 годы) был проведен с помощью психолингвистической экспертной системы ВААЛ¹. С использованием специальных компьютерных методов проанализировано около 2 тысяч писем пяти ярчайших представителей русской культурной элиты (Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Брюсова, А. Белого, А. Блока) за 20 лет (с 1895 по 1915 годы), извлеченных путем случайной выборки из многочисленных сборников. Для этого был осуществлен перевод текстов писем в электронный формат, а также произведена формализация их содержания: выделены основные смысловые единицы эпистолярного материала, относящиеся к теме смерти, затем эти детализированные понятия первого уровня, число которых оказалось достаточно большим, объединялись в укрупненные индикаторы и категории контент-анализа согласно их смысловой нагрузке. Так была выявлена структура установок писателей-модернистов в отношении к смерти, наглядная репрезентация которой представлена в виде диаграмм (см. рис. 1–4).

Согласно контекстному анализу семантических полей слова «смерть», можно выделить несколько моделей осознания смерти, бытовавших в конце XIX – начале XX века в общественном сознании: смерть в повседневном и массовом восприятии как физическое состояние, противоположное жизни, и соответственно как совокупность процессов и явлений, ведущих к нему (болезнь, боль, безумие, самоубийство); смерть в метафизическом смысле как состояние эн-

¹ Психолингвистическая экспертная система ВААЛ разработана доктором философских наук В. И. Шалаком на основе знаний и методов из области фоносемантики, психолингвистики, НЛП (нейролингвистического программирования), контент-анализа (см.: Шалак 2009).

тропии, хаоса и маркирующие его чувства тревоги, страха и упадка (хаос, бездна, крах, ужас, отчаяние, декаданс, декадентство); смерть в «христианском облике» и связанные с ним религиозные сюжеты (конец света [мира], Апокалипсис, Антихрист, пришествие Христа, Страшный Суд). Смысловые инварианты суждений позволили условно интерпретировать выделенные модели как «смерть ↔ болезнь», «смерть ↔ хаос», «смерть ↔ апокалипсис».

Для того, чтобы проследить динамику общественного сознания, частотные характеристики выделенных моделей (соответствующих им категорий), полученные в результате количественного анализа текстов писем, были расположены в хронологической последовательности (в системе координат – см. рис. 1–4)².

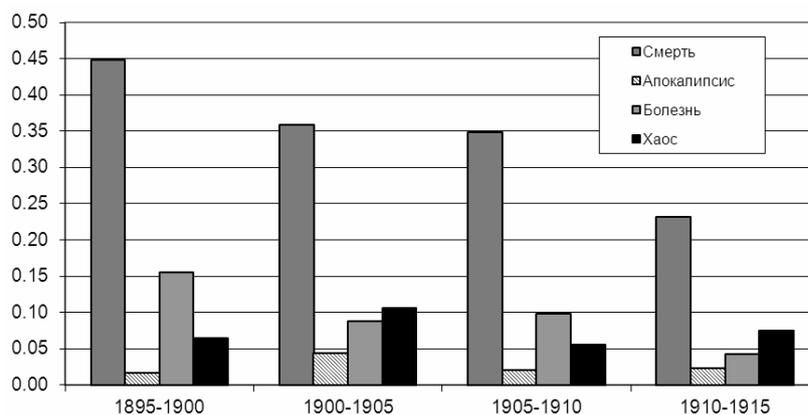


Рис. 1

Построение и анализ *динамических рядов* позволили проследить развитие общественного сознания и выявить интересный парадокс: достигнув апогея в 1895–1900 годах, сравнительно благополучный и спокойный период времени, дискурс о смерти последовательно снижается в последующие пятилетия и к середине второго десятилетия XX века (1910–1915 годы), отмеченного таким крупнейшим потрясением, как мировая война, опускается до минимума.

² Значения показателей вычислялись следующим образом: для каждой категории подсчитывалась ее частота во всей совокупности текстов за весь анализируемый период. Она бралась в качестве ожидаемой частоты F_e . Затем подсчитывались частоты этой же категории отдельно в текстах для каждого из пятилетий F_t . В качестве оценки (значения показателя) бралась разница $F_t - F_e$ (фактическая частота минус ожидаемая), деленная на стандартное отклонение (корень из дисперсии) (подробнее см.: Шалак 2009).

Не менее интересные и неоднозначные показатели демонстрируют результаты анализа отдельных моделей переживания смерти, выделенных в рамках общей категории. Так, обращает на себя внимание почти линейная (исключение составляет период Первой русской революции) динамика снижения «порога заболеваемости» (см. рис. 2).

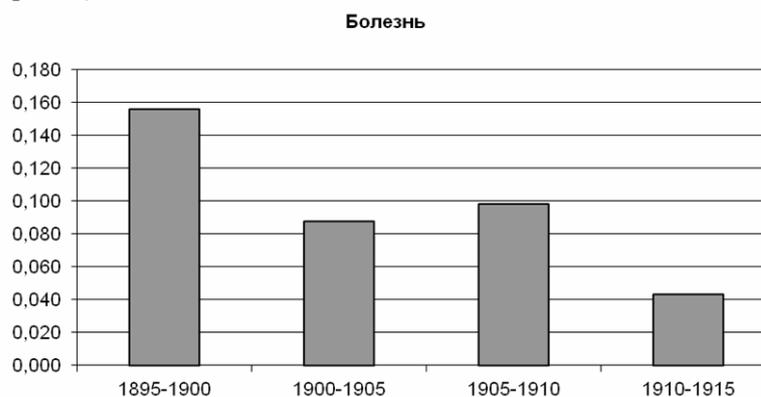


Рис. 2

Состояние хаоса, напротив, имеет волнообразный характер развития (см. рис. 3). Как показано на диаграмме, эффект хаоса возникает в сознании накануне сильных социальных потрясений – перед началом революции и Первой мировой войны.

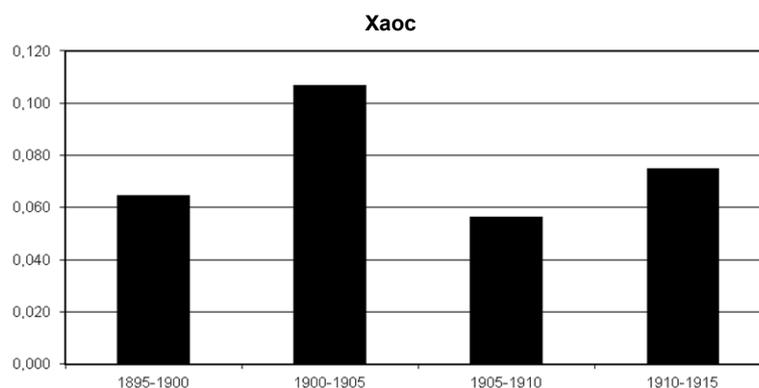


Рис. 3

Апокалиптические ожидания также развиваются нелинейно, однако волны эсхатологических настроений выражены менее явно

(см. рис. 4). Самая сильная приходится на первое пятилетие XX века – время Русско-японской войны и канун революции. Подготовка к мировой войне и ее начало дали новый апокалиптический импульс, однако не столь мощный.

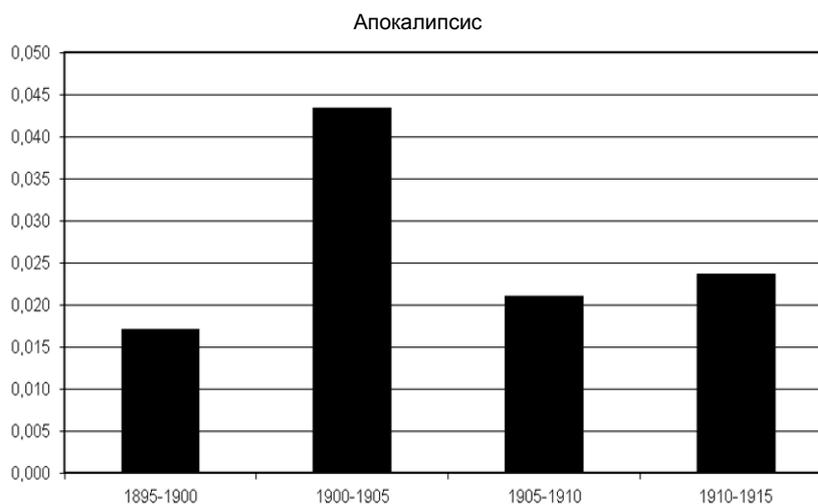


Рис. 4

В целом «всплески» хаотического начала и апокалиптических ожиданий легко объяснимы в рамках синергетической парадигмы. Восприятие явлений действительности как элементов хаоса связано с распадом традиционного уклада, нарушением привычного течения жизни (или на языке синергетики – дисфункцией), дезинтеграцией, распадом системы, которые происходят в точках бифуркации («полифуркации»). Применительно к конкретной исторической реальности речь идет о революции и Первой мировой войне. Что касается 1895–1900-х годов, то описываемые состояния сознания были связаны с ситуацией «конца века», обычно порождающей апокалиптические ожидания.

Динамика дискурса о болезни представляется более сложным явлением и требует подробного рассмотрения в историческом и социокультурном контекстах.

Мысль о том, что общественное настроение *Belle Epoque* было проникнуто «глубоким упадком духа» (Гредескул 1909), стала общим местом любой научной рефлексии по поводу психологии и культуры начала XX века. Подобная психоидеология и соответст-

вующие ей жизненные и художественные практики (эстетизация смерти) во многом связаны с идеями и достижениями психологии и психиатрии.

На пороге XX века учеными была приоткрыта дверь в бессознательное, через которую в жизнь человека проникло «потаенное»: аффекты, инстинкты, сексуальная жизнь. К этому времени относятся первые шаги в изучении сновидений, «природы страстей», воображения, гипнотических состояний (Ж. М. Шарко), открытие феномена «*la grande hystérie*» и концепта «истерическая женщина» (Шахадат 1999). Именно в это время начал свою деятельность З. Фрейд, складывалась практика психоанализа (Грякалова 2008: 14). Открытия и исследования в области психологии дали новую пищу для размышлений не только врачам, но и пациентам, принявшимся «настороженно следить за собой, нет ли в них ядов упадка, заразы, “декадентства”» (Иванов 1979: 396).

По словам Г. Элленбергера, «понятия декаданса и дегенерации, обретавшие всевозможные формы и обличия», пронизывали «все мышление того времени» (Элленбергер 2001: 339). Согласно теории вырождения (дегенерации), выдвинутой психиатром Б. О. Морелем в середине XIX века, в результате ухудшения условий жизни число болезней неуклонно увеличивается. Накапливаясь в поколениях, физические и психические болезни становятся патологией и приводят к вымиранию как отдельной семьи, так и человеческого рода в целом. «Признание того, что человечество вырождается, влекло за собой допущение, что каждый потенциально болен: либо человек уже унаследовал какую-либо патологию, либо с большой вероятностью он ее приобретет на протяжении жизни» (Сироткина 2000: 154). Популярность теории Мореля дошла до того, что, например, «все определения диагноза во французских психиатрических больницах начинались со слов *dégénérescence mentale, avec...* (умственная дегенерация, с...), после чего следовали основные симптомы заболевания» (Элленбергер 2001: 339).

Патология, таким образом, оказывалась вездесущей, а граница между болезнью и здоровьем стиралась. Угроза вырождения была «растворена в воздухе» и окрашивала мрачным колоритом психологический ландшафт современности. Быть здоровым в данной ситуации становилось просто неприличным.

Критик В. Воровский в статье «Лишние люди» писал: «Положительные стороны человеческой природы, как бодрое, жизнера-

достное настроение, вера в будущее, жажда борьбы, стали считаться символом пошлости, отрицательные же черты, свойственные всякому погибающему течению – бессилие, неудовлетворенность, неверие, пессимизм, – возводились в норму, удостаивались какого-то культа» (Воровский 1986: 122). В качестве иллюстрации к своим словам Воровский цитирует фрагмент письма «властителя дум» поколения 1880-х годов Вс. Гаршина к Фаусеку³. В язвительном тоне Гаршин писал: «Все люди, которых я знал, разделяются на два разряда или, вернее, распределяются между двумя крайностями: одни обладают хорошим, так сказать, самочувствием, а другие – скверным. Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он – радуется, на небо смотрит – радуется. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием. Придет из ватерклозета и говорит: ну, брат, да и хорошо же я ... и проч.» (Там же). Эти «ядовитые слова» очень ярко, по мнению критика, «выражают характерный для “падающего” общественного слоя культ унылого, страдальческого настроения» (Там же). Неврастения из болезни превратилась в характеристику состояния общества, неврастеник – в особый социальный тип (Б-р 1897: 104). Темы усталости, упадка, смерти во всей полифонии своих интерпретаций пользовались огромной популярностью в философии и культуре. Страдание стало хорошим тоном:

Ведь сердце твое – это сердце больное,
Заглохнет без горя, как нива без гроз:
Оно не отдаст за блаженство покоя
Креста благодатных страданий и слез.

С. Я. Надсон (1962: 188)

О ценности и «преимуществе» страданий по сравнению со счастьем и покоем рассуждали многие поэты. А. Блок, сравнивая два типа мировидения, писал: «Оптимизм вообще – несложное и небогатое мирозерцание, обыкновенно исключаящее возможность взглянуть на мир как на целое... он никогда не совпадает... с *трагическим* мирозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира» (Блок 1955: 317). Сам поэт, названный А. Ахматовой «трагическим тенором эпохи», в одном из писем

³ Фаусек Виктор Андреевич – ученый-зоолог, энтомолог, пропагандист женского образования, профессор Женского медицинского института и директор Санкт-Петербургских Высших женских курсов (1905–1910), друг писателя.

А. Белому признавался: «...Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви» (Блок 1955: 615).

В искусстве трагическое мирозерцание выразилось в эстетизации упадка и смерти, утверждении культа больного, мертвого тела. Литературными иллюстрациями темы смерти могут служить уже сами названия произведений и стихотворных циклов: «Пляски смерти», «Черная кровь», «Возмездие» (А. Блок), «Смерть» (Д. Мережковский), «Торжество в честь смерти» (З. Гиппиус) и многие другие. Визуальный ряд изображения смерти особенно убедительно представлен демоническими лунно-прекрасными, холодными и бесплодными образами врубелевской «Царевны Лебеди» и «Иды Рубинштейн» В. Серова, которую И. Е. Репин назвал «гальванизированным трупом» (Матич 2008: 308).

Неудивительно, что критики видели в психопатологических чертах героев современных произведений результат «извращенной психики» и аморальных интересов писателей (Шайкевич 1904а). Так, публицист Б. Б. Глинский в статье 1986 года «Болезнь или реклама» писал: «Сумерки общественной жизни являлись благоприятной обстановкой для нервного заражения; больное и без того поколение 1880 годов <...> не находило в себе энергии противоборствовать надвигающемуся <...> недугу, и эпидемия с каждым днем стала захватывать в свою власть все большее и большее число лиц: заболел г. Мережковский, его супруга г-жа Гиппиус [... и т. д.] ...Больных набралось такое количество, что для них потребовалась даже своего рода “палата № 6”» (Там же: 19). Глинский называет русских символистов патологическими субъектами, заявляя, что их сочинения представляют собой «клинический товар» (Там же). Гиппиус он изображает больной писательницей с «нервным расстройством», на выздоровление которой мало надежды, Константина Бальмонта и Дмитрия Мережковского – писателями с «больной мыслью» и «болезненно-настроенными нервами» (Глинский 1900: 370), а в другом контексте именуется Мережковского «пациентом палаты г-жи Гуревич» (Там же). То же отношение к творчеству писателей сохранялось и в последующие годы. Используя медицинскую лексику, критик Ю. Стеклов в 1908 году поставил модернистским литературным произведениям диагноз патологии. Их творцы, пишет Стеклов (1908: 40), заимствовали свой язык «из курсов психопатологии и половой психопатии», перелагая «учебники по половой психопатии на язык изящной литературы». Интересно, что думали по этому поводу врачи?

Весьма характерно, что психиатры не принимали характеристику нового искусства как продукта «больной психики». Вступая в спор с критиками, они утверждали, что изображаемая писателями психопатология – это «прежде всего отражение известных общественных условий» (Шайкевич 1904а: 57): социальных, экономических, политических и культурных.

Современный антрополог Р. Жирар рассматривает эпоху модерна как ситуацию протяженного культурного кризиса, признаком которого является распад традиционных моделей семьи, брака, социальных отношений, а психологический дискурс – как симптом «недовольства культурой», следствием которого было повышенное внимание к регрессивным формам антропосоциогенеза (и антипрокреативным утопическим программам) (Грякалова 2008: 17). Страх «вырождения» в данном ключе может быть связан с вырождением старых форм жизни, а «истерия» понята как шок от стремительного развития промышленности и новой городской цивилизации, технизации и информатизации жизни (формирование массового общества и массовой культуры)⁴. «Не только отдельный человек, но и общество в целом чувствовало себя незащищенным, слабым, неспособным справиться с обрушившейся на него лавиной новой информации» (Могильнер 1997: 26). Все это вызывало у современников «разочарование, недовольство и усталость – состояния, отличающиеся угнетающим свойством», которые ведут «к усилению эгоистической чувствительности, сознанию собственной слабости и необходимости опоры, хотя бы в мистицизме» (Шайкевич 1904б: 328). Последним, в частности, объясняется массовое увлечение русской интеллигенции рубежа XIX–XX веков теософией, спиритизмом, различными оккультными учениями и архаическими практиками экстаза.

В качестве еще одной причины психологической напряженности в российском обществе психиатры упоминали репрессивный общественно-политический строй. Харьковский психиатр Н. И. Мухин не оставлял сомнений в том, что неврастения и вырождение – продукт «унижения», бедности и репрессий, результат «невозможности политического действия» (Мухин 1888: 49, 67). На первом съезде Союза русских невропатологов и психиатров в 1911 году москов-

⁴ Х. Ортега-и-Гассет, в частности, обращал внимание на то, что небывалое увеличение спектра человеческих возможностей, расширение пространственных и временных границ его мира произошло невероятно быстро, за одно поколение (Ortega y Gasset 1925; 1929–1930; см. также: Ясперс 1991; 2007).

ский психиатр М. Ю. Лахтин сообщал о том, что в «русских исторических условиях» люди, искренне желающие что-либо сделать или изменить к лучшему, не могли реализовать своих стремлений. Оставаясь не востребовавшим, их альтруизм принимал уродливые, патологические формы; страдая от «надрыва» и душевной дисгармонии, эти люди становились замкнутыми и в конце концов могли превратиться в пациентов психиатра (Сироткина 2009: 162).

Постепенно врачи пришли к убеждению, что «оздоровление общества» возможно только при условии перемен и, как ни парадоксально, крупных социальных потрясений, которые смогли бы, во-первых, отвлечь от мрачных дум наиболее чувствительных и склонных к саморефлексии интеллигентов, а во-вторых, дать возможность реализоваться стремлениям радикально настроенного большинства – «патологических альтруистов», «донкихотов» (Айхенвальд 1982: 225), стремящихся к преобразованию мира и самопожертвованию.

Первым крупным социальным потрясением XX века стали революционные события 1905–1907 годов, сыгравшие роль катализатора в духовном преобразении общества: «воображаемая угроза декаданса и вырождения уступила место реальной политической опасности» (Сироткина 2009: 159). Революция ознаменовала наступление нового времени – «молодого, здорового», «с новыми великими задачами, с новыми гигантскими запросами», для осуществления которых нужны были новые люди – «сильное, гордое, могучее своей верой поколение», способное совершить «великую задачу обновления жизни» (Воровский 1986: 139). Ценностями российского общества считались теперь активность, целеустремленность, самопожертвование и героизм. «Музыка революции» (А. Блок) наполнила души «не страхом перед стихией, а мужеством и жаждой жизни, сознанием силы, переливающейся “живчиком по жилочкам” и рвущейся к делу» (Там же: 99). Для многих революция стала моментом пробуждения. «Деятельных людей» стало больше, жалобы на плохое самочувствие и разговоры о болезнях уступили место общественно значимой проблематике. Пересмотрели свои диагнозы и врачи: «фанатики, проповедники высших идей, борцы за идею» – те, кого они раньше относили к «высшим вырождающимся», – теперь выглядели как «прогрессивный элемент» и были «предпочтительнее здоровых» (Сироткина 2009: 169).

Однако вскоре после «выздоровления» состояние общества снова ухудшилось. Революция поставила для многих граждан про-

блему выбора: «каждый должен был решать: принять ли участие в забастовке, в вооруженном восстании и т. п.? Необходимость выбора заставила задуматься над тем, что раньше воспринималось автоматически, без сомнений и рефлексии» (Могильнер 1997: 31). Для многих проблема выбора оказалась столь тяжелой и непривычной, что провоцировала новые психические заболевания. Вместе с тем революция дискредитировала многие ценности радикализма. «Представители протеста и борьбы», среди которых было немало молодых людей, не смогли «примириться с крушением всех своих надежд и с возвратом старых порядков» (Там же: 37). В период крушения демократических надежд психиатры заговорили о том, что волна репрессий и насилия вновь породила «нездоровую» атмосферу «беззакония и страха», способствующую «эпидемии душевных болезней» (Сироткина 2009: 177) и суицидальных настроений. Одним из своеобразных итогов революции оказалась «эпидемия молодежных самоубийств», прокатившаяся по России в 1907–1911 годах. В газетах того времени сообщалось, что «каждодневная смерть десятков юношей и девушек» стала «будничным явлением» (Могильнер 1997: 36). «Первая русская революция, постигшая страну, задавленную издавна в своем росте», по словам З. Гиппиус, переливалась «всеми цветами смертельного безумия... Смерть – у нас единое доказательство, смерть – единое возражение, единое орудие, единая награда, единая угроза, единое наказание. На каждой пяди земли растет... трупная горка» (Гиппиус 2003: 246). По мнению писательницы, «во всех проявлениях жизни» «всего русского общества» снова воцарились «темное смятение, растерянность и разбросанность» (Там же: 316).

В ходе развернувшейся в психиатрической печати дискуссии о роли революционных событий в этиологии душевных заболеваний было установлено, что участие в борьбе оказывает неоднозначный эффект: одним оно дает выход напряжению и приносит облегчение, другим травмирует психику и усиливает болезненные проявления (Яковенко 1907: 269–276). Как и прежде, для их лечения требовались новые перемены, однако на этот раз более широкого – мирового масштаба.

1910-е годы ознаменовали новый этап в «истории болезни» русского общества, отмеченный положительной динамикой. Предвоенный ажиотаж, а затем и начало мировой войны вызвали всеобщий подъем и воодушевление.

Начало второго десятилетия XX века отличалось от первого своим мироощущением (более оптимистичным), новыми задачами и устремленностью в будущее. Во многом это было связано с притоком «молодой крови», вступлением в права нового поколения, формировавшегося в иных социокультурных реалиях, менее мрачных, но более тяжелых и насыщенных социальными и политическими потрясениями, а значит, более закаленного и выносливого, или, говоря современным языком, стрессоустойчивого. «Идейный багаж отцов» – предубеждения о болезненности и слабости рода человеческого, страх вырождения и прочее – не мешал «новым» молодым людям «подслушать сердце жизни, увидеть новые, теперь раскрывающиеся горизонты» (Колтоновская 1914: 137). Обновление сознания повлекло за собой и изменение образа жизни. «Как “реакция” против предыдущего поколения неврастеников, хилых, людей конторки и кабинета, – писал критик Н. Евреинов в 1911 году, – современное молодое поколение бросилось в сторону спорта, гимнастики, физического труда, танцев, наконец; одним словом, в сторону движения – как засидевшийся человек жаждет пробежаться, заставить биться сильнее пульс!» (Евреинов 1911: 10–11).

Последняя фраза критика очень красноречиво и образно передает еще одну возможную причину смены умонастроения и стиля второго десятилетия XX века. Засидевшись «без дела и без отдыха» (Воровский 1986: 123), отдельно взятый человек и общество в целом (как субъект массовой психики) подсознательно испытывали тоску по опасности, риску, интриге, сильным эмоциям. Скопившаяся и не реализовавшаяся в полной мере в ходе революции (в связи с ее подавлением) потребность в острых ощущениях стала отчетливо проявляться в 1910-е годы. В этой связи можно предположить, что спорт стал одним из способов канализации описанного психологического состояния, в том числе и свойственной человеческой психике агрессивности.

Многие представители творческой интеллигенции, еще совсем недавно погруженные в пучину переживаний, внезапно почувствовали «некий перелом во всем своем существе» (Бекетова 1990: 102). В письме матери от 21 февраля 1911 года А. Блок писал: «...Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока – неопределенных... Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный *перелом*, что сказывается

и на поэме⁵, и на моем чувстве мира. Я думаю, что *последняя тень “декадентства” отошла*. Я определенно *хочу жить* и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей – притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны... у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми – все более по существу. С другой – я физически окреп и очень серьезно способен относиться к *телесной культуре*, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановлений кровообращения (пойду сегодня уговориться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает *борьба* и всякое *укрепление мускулов*, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) – с этим связалось художественное творчество...

Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность расширить круг своей жизни, которая до сих пор была углублена (на счет должного расширения). Не знаю, исполню ли я что-нибудь в этом направлении. Пока, во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой...» (Блок 1955: 649–650). М. А. Бекетова сообщает, что в ту зиму Блок увлекся «французской борьбой» – наиболее популярным в 1910-х годах видом спорта (Дмитриев 1985: 31). По ее словам, поэт изучил «все нравы и обычаи этого спорта», «вид борьбы не только занимал, но и бодрил его» (Бекетова 1990: 102).

«Художники, артисты, писатели, а за ними и передовая молодежь, все согласно (может быть, и не сознавая этого)» начали проповедовать этот «новый курс» на гармонизацию духовного и телесного состояния (Евреинов 1911: 10–11).

В сборнике статей «Физкультура и спорт в истории Российского государства» под редакцией С. Н. Полторака содержится ряд интересных сведений о развитии спорта в различных регионах России в начале второго десятилетия XX века, а также в годы Первой мировой войны. По материалам русских губернских городов, именно в 1910-е годы фиксируется наибольшее количество спортивных мероприятий и состязаний, а также активизация спортивно-просветительских обществ (Савенко 2006: 5–6). Расширился сам

⁵ Речь идет о поэме «Возмездие», над которой Блок работал в то время.

диапазон видов спорта: к верховой езде, теннису, езде на велосипеде прибавились бег, гимнастика, борьба, лыжные и конькобежные состязания. Отмечается, что «Первая мировая война, изменившая распорядок жизни россиян, должна была негативно отразиться и на возможностях занятия спортом», однако наблюдаемая в те годы динамика была противоположной (Семенова 2006: 7). Так, если в начале XX века спорт «представлял собой скорее средство досуговой деятельности для небольших групп преимущественно городского социума и хобби для немногих», то в «военное лихолетье» наблюдалась совершенно иная картина, «которая может быть охарактеризована как развитие спортивного движения» (Там же). В годы войны, по словам историка Е. Ю. Семеновой, во многих городах России создавались любительские спортивные кружки и команды, ученические спортивные клубы, устраивались всевозможные городские и региональные состязания в различных видах спорта, на которых присутствовало «большое количество участников» и «небывалое ранее количество публики» (Там же: 10). Региональная пресса с восторгом сообщала: «...спорт растет и оживляется» (Там же: 9). Спорт стал одним из видов повседневных практик, «появился “культ здорового, полного жизни и движения тела” в противоположность вчерашнему культу – полуобнаженного, скабрёзного, ядовито-пикантного» (Евреинов 1911: 10–11).

В искусстве данную тенденцию нагляднее всего выразила известная «босоножка» XX века Айседора Дункан. По мнению критиков, ее легендарное «босоножье» – «лишний показатель» того, что современное общество стремилось «к культу греков, к прекрасному, здоровому и чистому, в своей обнаженности, телу!» (Там же: 11).

Сама танцовщица помимо эстетической функции созданного ею «танца будущего» отмечала его практическую значимость и даже необходимость. «В конце концов, – писала Дункан, – я говорю о развитии женского тела в красоте и здоровье, о возвращении к первобытной силе... Я говорю о развитии совершенных матерей и о рождении здорового потомства. Будущей школе танца суждено развить идеальный женский стан. Этой школе суждено быть и музеем своей эпохи» (Дункан 1911: 83–84). Характерно, что впервые за долгие годы (с конца XIX века) в искусстве, а следовательно, прежде всего в сознании появился образ здоровой женщины-матери. По словам Дункан (Там же), обновленная женщина «станцует Танец Жизни», а не Смерти.

Общество встречало новое десятилетие с оптимизмом и верой в будущее, с жадной очищения и омоложения, обновления и самоутверждения (Человек... 1997: 163). Более того, оно всего этого требовало. Последним можно объяснить, в частности, эйфорию, с которой была встречена в России и в Европе Первая мировая война.

Взрыв патриотических настроений был ошеломляющим. Согласно рассказу одного из очевидцев, присутствовавших на площади Зимнего дворца во время обращения Николая II, энтузиазм толпы был настолько мощным, что, удивляясь самому себе, он «вместе со всеми кричал “ура” и чувствовал слезы на глазах, и чуть ли уже не готов был броситься на колени», хотя «всегда был очень оппозиционно настроен против царя и... русского правительства» (Смирнова 2005: 32). Последнее замечание является наглядным свидетельством «самоценности» войны с ее спектром эмоциональных переживаний (Назаретян 2008): очевидец отдал предпочтение войне как процессу деятельности, а не его конкретным целям и предметным результатам.

Философ Е. Трубецкой писал, что из всех событий, произошедших за эти дни, самое крупное – «тот духовный подъем, который мы пережили». И делал вывод, что в первый раз после многих лет «мы увидели целостную Россию» (Трубецкой 1914: 17). Не было не только уклоняющихся от призыва в армию, но многие шли воевать добровольно. Согласно многочисленным свидетельствам, на призывных участках Петербурга ежедневно собирались толпы народа. «Молодежь вся рвется в армию» (Смирнова 2005: 33), «настроение у всех приподнятое. Не видно ни одного пьяного...», – писали современники о первых днях войны. Последнее замечание особенно характерно (России... 1914). Для страны, в которой «пьют с горя», оно означало некоторую стабилизацию эмоционального состояния, выход, пусть временный, из затянувшейся депрессии. Как отмечают психологи, «во время войны уменьшается число самоубийств. Причем не только в воюющей стране, но и в оккупированных, и в нейтральных. Всюду повышается чувство локтя, растет самосознание» (Человек... 1997: 153).

Первая мировая война была особенной и отличной от предыдущих войн по ряду моментов: количеству стран-участниц, своей тактике, применяемому оружию, психологии. Последняя особенность сказалась, в частности, в том, что начало войны, как и начало революции 1905 года, в сознании современников было окружено

«светлым ореолом», порождавшим в душах не уныние, а религиозный экстаз и мысль о возрождении (Колтоновская 1914: 133–134).

Несмотря на то, что, как любой военный конфликт, Первая мировая война несла прежде всего несметные жертвы, гибель и скорбь, «каждый участник отдавал себя ей сознательно и добровольно». «Не ездил туда, не стремился туда... только тот, – писала Е. Колтоновская, – кто физически не мог», война «неотразимо притягивала» к себе (Там же: 133).

В первые дни войны на фронт отправились Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц. По воспоминаниям А. Я. Левинсона, Гумилев «войну принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью... душу его война застала в наибольшей боевой готовности» (Лукницкая 1990: 167). Еще в 1907 году поэт был освобожден от военной службы из-за болезни глаз, но в этот раз, благодаря своей решимости и упорству, добился разрешения стрелять с левого плеча.

Лившиц, «прочитав в газетах о мобилизации, немедленно собрался – и весело зашагал» (Чуковский 1997: 67). В июле 1914 года его зачислили в 146-й Царицынский пехотный полк, воевал он храбро, был ранен и награжден Георгиевским крестом.

Блок, как вспоминала М. А. Бекетова (1988: 370–371), встретил весть о войне «с волнением и какой-то надеждой», на войну он не рвался, это было ему несвойственно, но пожелал участвовать в работе, имевшей касание к войне. В самом начале войны поэт поступил в ближайшее районное попечительство, оказывавшее помощь семьям запасных. Он делал обследования, собирал пожертвования, участвовал в благотворительных концертах.

Многие писатели, публицисты, поэты отправились на фронт в качестве военных корреспондентов. В их числе был и В. Я. Брюсов, ранее заявлявший: «Я чужд тревогам вселенной»⁶.

Судя по тем вестям, которые поступали от писателей с фронта, по их непосредственным откликам на войну, они переживали там безмерно много – неслыханное и невиданное, настоящее «крещение огнем» для новой жизни: «Они как будто стали уже другими. В них совершился какой-то сдвиг» (Колтоновская 1914: 133). Один из типичных литературных героев того времени рассказывал о себе: «...В эти десять лет чего не пережила Россия, а вместе с нею

⁶ «Я чужд тревогам вселенной, / Отдавшись холодной мечте. / Отдавшись мечте – неизменно / Я молось неземной красоте» (Брюсов 1979: 64).

и мы... все эти исторические события как-то очень мало меня задевали... так, диалектически больше... а эта война... просто я ее не охватил всю и даже гордиться не смею, что вот был ее участником... о ней рассказать ничего не могу... До смешного даже...» (Колтоновская 1914: 138). Несмотря на то, что «рассказать нечего», молодому офицеру непреодолимо хочется поделиться пережитым – «всем тем новым, что перечувствовано им на войне. Это новое заполнило его, сделало даже “нечувствительным к физическим болям”, взволновало и окрылило. Душевное перерождение героя было одним из чудес войны, “бытовым явлением”» (Там же: 139).

Участие в военных действиях воспитало характер и «наполнило сталью» сердца молодых людей, а армейская подготовка завершила работу по выздоровлению приданием им хорошей физической формы. Неслучайно Э. Дюркгейм рекомендовал обществу бороться с неврастенией «закалкой воли» и советовал упражнения в (само)контроле и (само)дисциплине (Дюркгейм 1998: 450).

Война стала для писателей и общества в целом своего рода «пограничной ситуацией», своеобразной психологической встряской. «Беспримерность» ее значения состояла в том, что она «вскрыла и призвала к жизни много нового», прежде всего настоящее ощущение самой жизни, которое невозможно подделать, «стилизовать», страшное в своей простоте, обнажающее перед человеком «истинную ценность жизни и смерти» (Блок 1955: 115). Даже те, кто не принял войну, отрицали ее «метафизически» (З. Гиппиус, Д. Мережковский), нашли в ней для себя «тот возрождающий эликсир, о котором давно вздыхали, стали шире, вышли из замкнутого круга своего “я”, где были заключены» (Колтоновская 1914: 133).

Интересно, что оценка текстов писем писателей по шкалам личностных черт⁷ (Шмелев 1996) подтвердило данное наблюдение критика. Так, экстравертность авторов с оценки 3,3 в 1895–1900 годах увеличивается до оценки 4,8 в 1910–1915 годах. При этом «демонстративность» понизилась с 2,4 (1895–1900 годы) до –0,2 (1910–1915 годы). Таким образом, видно, что «гипертрофированное “я”, заполнявшее писательскую психологию» (Колтоновская 1914: 133), в течение последующих лет «стусевалось».

⁷ Оценка текстов источников по шкалам личностных черт проводилась при помощи психолингвистической экспертной системы ВААЛ.

«Нынешняя война, – резюмировала Е. Колтоновская (1914: 139), – помимо своих общекультурных задач и освободительных целей, наверно сыграет и большую психологическую роль. Вместе с опустошениями она несет с собой и *оздоровляющее начало*. Давно болеющая литература может почерпнуть в ней то лекарство, в котором она так нуждается. Вопрос только в том, все ли могут им воспользоваться?» Безусловно, данное высказывание следует понимать шире: речь идет не только о «болеющей литературе», но и о «больном обществе», на которое Первая мировая война оказала своего рода «терапевтическое воздействие», раскрепостив психологические факторы: «внутренне присущую человеку» агрессивность (Человек... 1997: 156), потребность в аффилиации и самопожертвовании (Назаретян 2008: 11), а также накопившуюся «общественную тревожность» (Человек... 1997: 162). Поддавшись всеобщей эйфории, Вяч. Иванов называл события войны ни много ни мало «чудотворными», так как они «дали всем... благодатнодохнуть чистейшим воздухом соборного единения» и избавиться от эгоизма и затворничества (Иванов 1914: 97).

Бесспорно одно: Первая мировая война подводила «всемирно-исторический итог» целой исторической эпохе (Новому времени), исчерпавшей собственные силы, дряхлой, больной, разлагавшейся и заразившей трупным ядом не одно поколение «лучших людей». Русские интеллигенты, подобно испанскому Дон Кихоту, сражавшемуся с ветряными мельницами, шли на войну, чтобы сломать до конца «своды духовной темницы» прежней мещанской культуры, чтобы ощутить «иной воздух» и увидеть «синеву небес» (Булгаков 1914: 108–109). Как известно, надеждам интеллигенции на преобразование жизни не суждено было сбыться. Уже после первой кампании 1914 года русское общество, как и европейское, вновь постигла величайшая депрессия.

Анализ восприятия и переживания Жизни и Смерти русской культурной элитой показал, что ментальность людей *Belle Epoque* была обусловлена сложным комплексом социальных, экономических, политических отношений, преломленных общественной психологией, идеологией, религией и культурой, и не ограничивалась пессимизмом и унынием *fin de siècle*, как это принято думать. Парадоксальное сочетание в умонастроении Серебряного века любви к жизни с культивированием смерти отражает одну из особенностей человеческой психики, жаждущей испытать всю гамму эмоциональных переживаний.

Литература

- Айхенвальд, Ю.** 1982. *Дон Кихот на русской почве*. Нью-Йорк: Чалидзе.
- Ариес, Ф.** 1992. *Человек перед лицом смерти*. М.: Прогресс.
- Бекетова, М. А.**
1988. *Блок. Я лучшей доли не искал... Судьба Блока в письмах, воспоминаниях, дневниках*. М.: Правда.
1990. Александр Блок. Биографический очерк. В: Бекетова, М. А., *Воспоминания об Александре Блоке*. М.: Правда.
- Блок, А.** 1955. *Собр. соч.*: в 2 т. Т. II. М.: Гослитиздат.
- Брюсов, В.** 1979. *Стихотворения, лирические поэмы*. М.: Московский рабочий.
- Б-р, В. М., д-р.** 1897. «Гамлет» Шекспира с врачебно-психиатрической точки зрения («Скорбный лист» его душевного состояния). *Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии* 2: 39–107.
- Булгаков, С.** 1914. Русские думы (речь, произнесенная на заседании Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г.). *Русская мысль* 12: 108–115.
- Воровский, В.** 1986. *Статьи о русской литературе*. М.: Худ. лит.-ра.
- Гиппиус, З. Н.** 2003. *Собр. соч.*: в 8 т. Т. 8. Дневники: 1893–1919. М.: Русская книга.
- Глинский, Б. Б.** 1900. Молодежь и ее руководители. В: Глинский, Б. Б., *Очерки русского прогресса*. СПб.: Т-во худ. печати.
- Гредескул, Н.** 1909. Общество. Реакция. Народ. *Зарницы* 1: 1.
- Грякалова, Н. Ю.** 2008. *Человек модерна: Биография – рефлексия – письмо*. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Гуревич, А. Я.** 1989. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии. В: Гуревич, А. Я. (отв. ред.), *Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры*. М.: Наука, с. 127–135.
- Дмитриев, С. С.** 1985. *Очерки истории русской культуры начала XX века*. М.: Просвещение.
- Дункан, А.** 1911. Танец Жизни (выдержки из книги). В: Евреинов 1911: 11–15.
- Дюркгейм, Э.** 1998. *Самоубийство: Социологический этюд*. СПб.: Союз.
- Евреинов, Н. (ред.)** 1911. *Нагота на сцене: сб. статей*. СПб.
- Иванов, В. И.** 1979. Переписка из двух углов: Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон. *Собр. соч. Вячеслава Иванова*. Т. 3. Brussels: Foyer Oriental Chrétien.

Иванов, Вяч. 1914. Вселенское дело. *Русская мысль* 12: 97–107.

Колтоновская, Е. 1914. Война и писатели. *Русская мысль* 12: 133–139.

Лукницкая, В. 1990. *Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких*. Л.: Лениздат.

Матич, О. 2008. *Новое религиозное сознание и fin de siècle в России*. М.: НЛО.

Могильнер, М.

1994. Российская радикальная интеллигенция перед лицом смерти. *Общественные науки и современность* 5: 56–66.

1997. *На путях к открытому обществу: кризис радикального сознания в России (1907–1914 гг.)*. М.: Магистр.

Мухин, Н. И. 1888. Нейрастения и дегенерация. *Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии* 1: 49–67.

Надсон, С. Я. 1962. *Полное собрание стихотворений* / вступ. ст. Г. Бялого. М.; Л.: Сов. писатель.

Назаретян, А. П. 2008. *Антропология насилия и культура самоорганизации. Очерки по эволюционно-исторической психологии*. М.: УРСС.

Петренко, В. Ф., Митина, О. В. 1997. Образ политической и экономической реформы в сознании россиян. *Общественные науки и современность* 4: 92–105.

России объявлена война. *Русские ведомости*. 1914. № 166.

Савенко, С. В. 2006. Спортивная тематика на страницах тульской периодической печати второй половины XIX – начала XX вв. В: Полторацкая, С. Н. (ред.), *Физкультура и спорт в истории Российского государства: Материалы 44-й Всероссийской заочной конференции*. СПб.

Семенова, Е. Ю. 2006. Спортивное движение в губернских городах Поволжья в годы Первой мировой войны (по материалам Самары, Саратова, Симбирска, Пензы). В: Полторацкая, С. Н., (ред.), *Физкультура и спорт в истории Российского государства: Материалы 44-й Всероссийской заочной конференции*. СПб.

Сироткина, И.

2000. Психопатология и политика: становление идей и практики психогигиены в России. *Вопросы истории естествознания и техники* 1: 154–177.

2009. *Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века*. М.: НЛО.

Смирнова, А. М. 2005. Петербургская интеллигенция: патриотизм и пацифизм в начале Первой мировой войны. *История Петербурга* 3(25): 31–36.

Стеклов, Ю. М. 1908. Социально-утопические условия литературного распада. *Литературный распад: Критический сборник*. СПб.: Звено.

- Трубецкой, Е.** 1914. *Смысл войны*. М.: Тов-во тип. А. И. Мамонтова.
- Человек и война.** 1997. *Общественные науки и современность* 4: 152–167.
- Чуковский, К. И.** 1997. *Дневник. 1901–1929*. М.: Россмен.
- Шайкевич, М. О.**
1904а. Психопатологические черты героев Максима Горького. *Вестник психиатрии, криминальной антропологии и гипнотизма* 1: 57.
1904б. Психопатологический метод в русской литературной критике. *Вопросы философии и психологии* 3: 309–336.
- Шалак, В. И.** 2009. *Современный контент-анализ. Приложения в области: политологии, психологии, социологии, культурологии, экономики, рекламы*. М.: Омега-Л.
- Шахадат, Ш.** 1999. Инсценированные страсти. *Логос* 2.
- Шмелев, А. Г.** 1996. *Основы психодиагностики*. Ростов н/Д.: Феникс.
- Элленбергер, Г. Ф.** 2001. *Открытие бессознательного*. СПб.: Академ. проект.
- Яковенко, В. И.** 1907. Здоровые и болезненные проявления в психике современного русского общества. *Журнал Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова* 13: 269–276.
- Ясперс, К.**
1991. *Смысл и назначение истории*. М.: Политиздат.
2007. *Власть массы / Призрак толпы*. М.: Алгоритм.
- Ortega y Gasset, J.**
1925. *La deshumanización del Arte e Ideas sobre la novela*. 11ª Edición. Madrid: Espasa Calpe.
1929–1930. *Rebelión de las Masas*. Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente.
- Vovelle, M.** 1983. *La mort et l'Occident de 1300 à nos jours*. Paris: Gallimard.